

Капустина Евфросиния Игоревна

## Девять дён спустя

*25 апреля - 4 мая, деревня Гостилицы*

С нонешнего дня живу с бабушкой в деревне.

Строго говоря, бабушка не моя – мужнина. Но муж мой, так что и бабушка, ну, общая значит, наша. Мама, дочь её, вот уж четыре года, как непрерывно с ней живёт после смерти дедушки, без отпусков и выходных. Утомилась очень. Вот мы с мужем уговорили её наконец-то подмениться, в город съездить, выдохнуть. Оставила мне подробные инструкции по уходу за бабушкой, по уходу за кошкой, собралась, уехала. Мы остались: я, бабушка, да кошка дурная серая.

Я всё по инструкциям, чётенько.

На завтрак кашу молочную с сахаром. Капли в глаза утром и вечером. Капли на грибковые пальцы, тоже дважды. Капаю первые. Кошке воду поменять, газетки в лотке грязные вынуть, свежих нарезать, постелить. Меняю, стелю. На обед нужно одно блюдо – картошку с чем-нибудь или суп, но густой непременно. Варю картошку, запекаю рыбу с морковкой. Бабушка заглядывает в тарелку, отодвигает:

— Я это есть не буду.

Этого в инструкции не было. Пока нахожу нужную реакцию, бабушка ушаркивает в комнату. Ладно. Идём дальше по списку.

Кошку вычесать щёткой и умыть влажными руками. Чешу, умываю. Кошка оставляет на моих запястьях по две пары глубоких проколов, зарывается под покрывало на диване, урчит оттуда. На ужин бабушке надо подать творог со сметаной и булкой. Ставлю творог греться. Кошке очень хочется дать пиздюлей, но даю сухой корм и свежую воду, как положено.

Пока собираю ужин, бабушка садится в кресло и спрашивает:

— Галя что, в больницу ложиться поехала с пакетом?

Галя – это мама. Наша мама, а её дочка.

— Нет, она просто в город поехала, по делам!

— А? Не слышу ничего!

Бабушка давно уже не слышит единственным ухом, хоть укричись. Пишу печатными буквами на бумажке, несу лупу. Читает по складам.

Рыдает. Я сажу рядом, глажу по плечу. Рыдает минут тридцать.

Пишу на бумажке: «Что ты плачешь?». Протирает глаза платочком, сморкается, прочитывает. Оборачивается на меня:

— Так к Пасхе же ничего не куплено, не готово! Кто же теперь яйца-то красить будет?

Рыдает ещё громче. Пишу на бумажке: «Я всё сделаю к Пасхе». Прочитывает.

— Покрасишь? Ну, тогда хорошо.

Хлюпает носом несколько минут, трёт глаза. Добавляет:

— Выпить чего-нибудь надо, успокоиться.

Несу валерьянку, капаю в гранёный стакан восемь капель, доливаю ложку воды. Пьёт. Гладит кошку.

— Ужинать будешь?

— Нет.

— Чаю хочешь?

— Горячего. И булку. И сыр.

Выпиваем по чаю с бутербродом. Бабушка, сопя, уходит спать.

Сажу на диване с кошкой и валерьянкой. Капаю себе. Всё равно в доме больше выпить нечего, а мне сейчас не помешало бы тоже успокоиться. До завтра.

— Ты чего так ранёхонько выстала-то?

Это бабушка спрашивает у меня в 6:20 утра, прихлёбывая кипяток с тремя крупинками растворимого кофе.

Я хочу объяснить, что очень затруднительно было не встать от звуков апокалипсиса, который они с кошкой устроили на кухне около шести: обсуждали погоду, хлопали холодильником, доставали все кастрюли, роняли и укладывали их обратно, чиркали спичками... Вспоминаю, что бабушка не слышит, а за листком идти, да писать всё это очень уж лень для раннего утра. Поэтому просто улыбаюсь и ставлю на плиту кастрюльку – кашу варить.

Кашу бабушка съедает всю, почмокивает губами и сообщает:

— Галя лучшей варит, но ничего, есть можно.

В 9 утра бабушка молится: иконе Николы Угодника, портретам дочери и внука. Молится всегда вслух, громко:

«Дай, Господи, здоровьица Женюшке и чтоб под дождь не попал. Дай Галеньке к врачу сходить, и во все магазины, и домой приехать».

Пошатывается, задевает стол. Стоящий на нём букет вербочек роняет на клеёнку пыльцу и разванивается на всю комнату медовым и компотным. Бабушка запахов не чувствует, давно уже. Распоряжается, что мне надо поделывать: воду включить тихонько и помыть посуду, лоток за кошкой вычистить, свежей воды животине дать, обед приготовить. Опираясь на палку, идёт в свою комнату. В коридоре наклоняется к растёкшейся по полу кошке, треплет серый шерстяной бок, приговаривает:

— Всё мы с тобой удилали, Шеринька, пойдём лежать.

Внутри меня возникает ряд возмущённых вопросов, относительно того, кто чего тут уделал, но я их не задаю. Я сажусь работать за ноутбуком. Через пару часов слышу, как бабушка шебуршится в платяном шкафу. Через несколько минут пришаркивает в гостиную, треплет меня за плечо. Оборачиваюсь. Тянет линиястую шерстяную тряпку – похоже, отрезанная спинка какой-то старой кофты.

— На, под жопу положи, сидеть тебе неудобно.

Гляжу на свой стул. Обычный стул, с мягкой обшивкой, мне нормально. Вспоминаю мамину инструкцию – там ничего не было про правило сидеть на тряпке. Вспоминаю вчерашние рыдания бабушки. Беру у неё тряпку, стелю на стул, усаживаюсь, продолжаю работать. Бабушка довольная шаркает к дивану, сидит, глядит довольная. Мне не сложно посидеть на тряпке, пусть только не рыдает до заикания, как вчера. Мне ни капельки не сложно, посижу, делов-то. Пусть будет тряпка под жопой.

Просыпаюсь оттого, что кто-то глядит на меня осуждающе. Нет, не глядит даже – буравит взглядом, вот так точнее будет. Открываю глаза. Кошка.

Сидит на ковре рядом с моим диваном, глядит грустными янтарными глазами то на меня, то на полупустую миску, то куда-то в пространство – видно, высматривает там своё грядущее похудение. Перевожу глаза на часы. Ну, конечно же, 6:10, самое время пожрать, естественно. С кухни слышится чирканье спички – бабушка снова воюет с плитой и чайником своей недавно сломанной рукой. Встаю.

По инструкции: кошке еды, бабушке капли, кошкин лоток убрать, бабушкины ногти обработать, кошку вычесать, бабушку накормить...

— Куда ты сыпешь, я без песка пью!

Преыдущие два дня было по-другому, но, не возражаю. Наливаю бабушке новую чашку чая, без песка.

Разогреваю позавчерашнюю запечённую рыбу – себе. Бабушке поджариваю солёные грузди. Выкладываю на тарелки, рядом с отварными картофелинами. Бабушка внимательно следит за раскладкой, видит, что кладу нам разное.

— Мне-то этого тоже положь!

Не напоминаю, что два дня назад она отказалась от этой рыбы, кладу половинку

кусочка и ей. Съедает всю, без остатка. Приговаривает себе под нос:

— Рыбу откуда-то взяла... Рыбу-то такую только на праздник готовят...

Мою посуду. Бабушка не уходит, сидит за пустым кухонным столом, что-то прищёптывает. Наконец, выдвигает из под стола второй табурет и громко объявляет:

— Садись! Сейчас скажу тебе чегой-то важное.

Сажусь, гляжу вопросительно.

— Значится, слухай... Я тебе наш режим скажу. Чай я хочу пить в 6 часов, завтрак должен быть в 8 часов, потому что в 9 мне уже молиться надо. Поняла? Дальше, значит...

Надиктовывает мне своё расписание. Я записываю на новый листочек. Старого, с маминими инструкциями под рукой нет, но я и без него понимаю, что бабушкины указания сильно разнятся, часа на два раньше каждый почти пункт поднят. Ладно, на тряпке я сижу, привыкла. Чай, с новым расписанием тоже управлюсь.

Бабушка заканчивает диктовать, выдыхает:

— Ох, устала я вся, сил нет. Сведи меня, лежать буду с кошкой.

Веду в комнату, подкладываю подушку под голову, несу кошку. Кошка орёт и сопротивляется всеми своими семью серыми килограммами, но бабушка крепко прижимает её здоровой левой рукой и уговаривает:

— Лежать надо, Шеринька, нам с тобой не на работу, нам с тобой лежать надо, детка.

Шеринька усмиряется, стихает растрёпанным клубочком под бабушкиной рукой и только янтарные глаза снова глядят на меня, уже не осуждающе, а больше жалобно. Я пожимаю плечами и ухожу. Тут, Шеринька, не твоё расписание и не моё. Так что ты лежи, коли сказано, а я капусту рубить, как велено.

Нонче решила поджарить на обед капусту с сосиской.

То ли с того, что Капустины фамилия наша, то ли ещё с чего другого, но в семье все любят капусту и производные от неё. Бабушка, кажись, тоже любит. По крайней мере, всегда следит, чтоб капустная голова в холодильнике имелась и отчитывает, если нет. Сказывает частенько, как квасила по молодости капустные листья – бочками. Поминает огромные пироги из печи, не то что наши нынешние, из духовки, хоть и с капустой в нутрях всё также.

В общем, притараканиваю на стол сковороду с жареной капустой – попытка номер не помню какая угодить бабушке. Раскладываю по тарелкам. Едим. Едим в молчанку, не поговорить же, но я гляжу, что бабушка подьедает все капустины и даже подтирает тарелку мякишем – видать не дурно таки вышло.

Пишу на листочке:

— Тебе понравилась капуста?

Бабушка прочитывает, кивает утвердительно:

— Ничего так, удалась капустка.

Я уже почти начинаю радоваться своей удаче, но бабушка переводит взгляд на пустую сковороду и добавляет:

— Сковороду-то изгадила всю, блинов теперь не на чем поджарить будет...

Это не блинная сковорода, другая. У меня башка может и дурная местами, но не настолько ж, чтобы на блинной сковороде что-то другое жарить. Достаю и показываю бабушке обе сковороды одновременно, пытаюсь жестами показать, что блинная чистая, а эта другая. Бабушка измеряет прищуренными глазами обе сковороды, встаёт и уходит, бросая напоследок суровое:

— Всё изгадила, поганка девка, ничего не осталось.

Расходимся по двум комнатам, сопеть от обиды друг на друга.

К ужину бабушка не выходит. Я тоже, признаться, не уговариваю. Она всё ещё сердита, громко молится портрету дедушки, жалуется ему на жизнь свою тяжкую, сопит в платочек. Капаю ей капли, убираю еду в холодильник, ложусь спать. Гадаю, каким звуком разбудят меня завтра и насколько рано. Обиженно соплю в подушку. Засыпаю.

Наутро встаю сама, до шума ещё. На часах 6 утра. Видать, организм свыкся уже, перестроился сам около этого часа просыпаться. Слышу, бабушка не спит, шуршится в комнате. Заглядываю – тряпочки перекладывает и свистит носом шумно. Ворочаюсь к себе, собираю постель в шкаф, переодеваюсь.

Пока мы шуршим всякими тряпочками и, по вчерашней привычке сопим обиженно, кошка под шумок добирается на кухне до пакета с пакетами, вытрясает содержимое и весело разгоняет по всей квартире. Бабушка видит разлетевшиеся пакеты, бегающую по квартире кошку – кричит. Я бегу за кошкой, та прячется за диван, нахалка. Собираю пакеты и вижу, как бабушка беззвучно хохочет глазами и приоткрытым ртом. Забываю, как надо сопеть и тоже хохочу.

Приношу бумажку, пишу на ней: «Как ты себя чувствуешь сегодня?»

Бабушка вчитывается медленно, каждый слог проговаривает по два-три раза, не сразу собирает их в слово. Она всего-то три класса в колхозе успела закончить, а потом война началась, не до школы и не до чтения было. Некоторые после войны доучивались, конечно, а ей как-то не довелось. Читать бойко так и не наострилась, тяжело ей читать. Наконец, поднимает глаза, поняла.

— Да ничего доченька, ничего, живая. Голову только вот мотает, ох...

Под руки шаркаем на кухню – чай пить. Пока бабушка хлебает чай, я продолжаю нарушать данные мне инструкции и пишу на бумажке: «Что хочешь на завтрак? Есть творог, яйца, греча, овсянка, грибы, сосиски». Отдаю, вместе с лупой.

Читает минут шесть-восемь, успеваю кофе себе заварить и процедить. Бормочет:

— Ох, я бы яйчишко съела сейчас... Но ты не трожь их! Нето на Пасху нам не хватит красить-то. Ты мне гречу свари в молоке. И гриба дай, осолиться слегка.

Молоко, греча, гриб... Подаю. Бабушка ест, довольная. Отставляет от себя пустые чашки, выдыхает:

— Вкусно мне стало, доченька, заботишься обо мне.

Что ж, пожалуй, с нонешняго дня мы с бабушкой живём не по инструкциям, да. Нарушение, конечно, ну и срать. Кроме шуток – после гречи с молоком и грибом вместе, срать нам, вероятно, придётся. Да и ладно, унитаз у нас имеется, тряпочки тоже, ванну наберём. Ничего. Главное, что бабушка, впервой со мной рада быть, кажется. Чего мне ещё желать-то.

Мы за чаем теперича с бабушкой не молчим, болтаем.

Ну, технически в доме у нас тихо, конечно. Она ведь не слышит всё также, толку-то мне воздух сотрясать. Мы болтаем по бумажке, по тетрадке с отлинявшими клеточками точнее. Я пишу в тетрадку крупные печатные буквы, бабушка через лупу собирает их в слова и отвечает. Иногда говорит, что не понимает.

Не понимает она в основном длинные слова – пока до конца буквы дочитывает, начало слова забывает. Ещё не понимает более, чем двузначные цифры, годы не может прочесть. Переписываю: сложные слова меняю на синонимы покороче, иногда нарочито неправильно пишу, ну, не как по правилам русского языка положено, а по бабушкиному говору, чтоб понятней ей было. Цифры переписываю словами или тоже сокращаю.

В этот момент отчего-то особенно ярко вспоминаю свою работу с гватемальскими жителями – потомками индейцев майя, для которых их сегодняшней испанский – не родной язык. Для них мне тоже приходилось переиначивать классические испанские слова, иногда чуток нарушать правила, чтобы поняли. Доводилось даже бывать в роли эдакого переводчика между пациентами и новыми врачами, которые пытались говорить на правильном испанском, а надо было на народном, чтоб понятыми быть. Теперь вот и с бабушкой я что-то вроде того выполняю, перевожу ей сегодняшней мир на понятный для неё язык.

Переговариваемся так долго, половину тетрадки за чаепитие исписываю ей. Обсуждаем мою бабушку, кошку, войну, корову Тарьку, какого-то Серёгу Чуркина,

который помер во время восхода свекольной ботвы – не дожил до свёклин. Обсуждаем, что на пасхальный стол сготовим, к приезду мамы и мужа. Бабушка описывает мне блюдо, которое нужно состряпать и добавляет загадочно:

— Сготовь, а им-то не говори из чего сготовлено, пусть гадают себе.

Мне смешно, но я согласно киваю. Отравы там нет, так что сготовлю и говорить не стану состав – пусть погадают, коль бабушку это потешит.

Наконец, меню согласовано и записано. Бабушка отставляет от себя пустую чашку, сгребаёт со стола крошки на ладонь, сыпет в рот. Тихонько выдыхает:

— Спасибо тебе. И за чай, и за всё. Хорошо.

Вечером сидим в её комнате, обнявшись. Глядим кино про Мухтара. Бабушка гладит меня по колену и объявляет:

— Хорошо у нас с тобой, дружба.

Похоже на то.

С утра и до полудня начищаем иконы мятыми клюквинами.

Я снимаю образа с гвоздиков, таскаю с балкона клюкву, хожу мочить, полоскать и отжимать тряпочки. Бабушка сминает ягоды между пальцев, размазывает кровавую кашу по замутневшим киотам, трёт мокрой тряпочкой металлические детали, вспухшими подушечками пальцев обтирает лики, писанные по дереву.

— Бабушка, почему клюквой чистишь?

— Так всю жизнь ею моем иконы-то! И мамынька так мыла, и бабка моя, и вси. Клюквина – она дорога очень, тошнёхонько станет, пока наберешь её ведро. Вот потому Боженьку ей и моют всегда, чего попало не кладут на икону.

Трёт-скоблит закопчённый киот изо всех сил. Клюквенная кожица забивается в щели, словно сбегает от морщинистых пальцев, хоронится. Бабушка обматывает острей ножа краем тряпицы и выскребает из уголков всех схоронившихся: засохшего паучка, скруточки паутинок, сгустки старой смолки и сбежавшую кожицу.

Суёт икону мне в руки:

— Глянь-ко, нигде боле нит грязи-то?

Проверяю все улочки трещин и зазубрин – чисто. Пишу бабушке на крае газетки, что порядок, чистота. Кивает, довольная.

— На, вишай обратно Боженьку, намытого. Гляди, не вкривь только!

Вешаю, проверяю, чтобы не вкривь, чтобы ровнёшенько висело. Бабушка тянет маленькие образки, без киотов – чистый металл. Тычет пальцем, куда их ставить. На одном из образков не разобрать доподлинно, кто изображён. Надпись по макушке забавная, выдавлено: «детка Микола». Бабушка из вепсских мест родом, так кто их там

знает, может святой Николай у них и в детках, мне не узнать. Бабушка прерывает мои этнографические размышления дёрганьем за подол, тянет второй образок:

— Этой иконой мамынька меня благословила, гляди, как хороша!

Прежде, чем отдать мне – обцеловывает образок со всех сторон, и с обратной тоже, хоть Богоматерь только на лицевой стороне выгравирована – у бабушки свои традиции. Отдаёт ставить.

— Тебя-то какой иконой благословили, такой или поболе?

Я улыбаюсь бабушке и киваю. Она решает, что этот кивок означает, что моя икона точно поболе ейной, радостная идёт домывать оставшиеся образа. Она не знает и не узнает никогда, что меня никто ничем не благословлял – некому было, так уж вышло. Но ей ни к чему это знать, станет плакать ещё чего доброго – неблагословлённая невеста внуку досталась. Уж какая есть.

Вешаем иконы по местам. Ставим к ним свежие вербы. Зажигаем свечку. Сидим, любимся, до чего чудно вышло. Бабушка тянется ко мне и внезапно обнимает:

— Как хорошо-то, доченька, всё мы с тобой удили к Пасхе, спасибо!

Хорошо удили. Пахнет горелым мушиным крылышком – на свечку налипло. Вербной пылью медово пахнет и клюквой забродившей. Хорошим пахнет. Живым.

Нонешним днём влетело кошке. По первое число влетело.

Началось всё с того, что бабушка на свеженамытом полу несколько шерстинок оброненных углядела. Всякий раз поражаюсь – мне двумя глазами не всегда видно такие мелочи, а она вона, с одним прищуренным управляет лучше всех.

Углядела шерстинки, вынула дутый железный пылесос, заставила меня ковры чистить заново. Ну, чищу, чего мне противиться-то, себе дороже выйдет. Покуда чистили – кошка потерялась, нигде не видать. Дело понятное, она пылесоса жуть как боится. Двенадцатый год в доме живёт, вот столько и боится этой твари жужжащей. Всякий раз прячется от него куда подальше, мы уж привыкли. Посидит да выйдет.

Ковры начистили до того, что ни пушинки на них не сыскать. Пылесос вытряхнули, провод вокруг железного пузика обернули, убрали за шкаф. Отобедали, щец похлебали. Обыкновенно после обеда бабушка дремлет, сидя на диване. А тут слышу – шаркает, шуршится и бормочет чегой-то, не утихомиривается никак. Иду проведать, может помощь нужна, потеряла чего.

Заглядываю в комнату. Бабушка в наклонку стоит на палку опёршись, под диван глядит. Разгибается, подымает глаза на меня:

— Ты знаш гди кошка-то?



Мотаю головой отрицательно. В гостиной кошки не было, точно. Оглядываю бабушкину комнату – тоже нигде не видать растёкшуюся серую булку. Начинаем масштабную поисковую операцию, последовательно проверяем все любимые кошканы сходы: под шкафами, под комодом, под кроватью, за креслом, под покрывашками на диванах, под ванной... Нигде нет. Проверяем по второму кругу. Точно нет.

Я уже тревожно прокручиваю у себя в голове все утренние звуки – может я недоглядела, бабушка дверь на площадку открывала и кошка туда сквозанула? Да нет же, не подходила бабушка к двери, точно нет. На всякий, высовываю нос на площадку. Нет кошки, пропала.

Слышу, шибко шебуршит кто-то картоном в бабушкиной комнате. Иду на звук и точно – кошка выбирается из под стола, там большая коробка из под телевизора лежит, видно, в ней она схоронившись и была. Отряхивается, потягивается, идёт, покачиваясь. Утыкается в коридоре напрямик в бабушкины ноги. Бабушка стучает перед котьим носом палкой и выговаривает:

— Шери! Где ты была ушодци, сказывай! Молчишь? Чего молчишь, хулиганиста морда? Шери, с миня сердце чуть не спрыгнуло, когда глянула, а тебя нит нигди! Сказывай, где хоронилась, сказывай бабушке!

Шери ничего не сказывает, разваливается в прихожей, на полочке у зеркала, лижет лапки. Бабушка притаскивает табурет, ставит рядом, усаживается и продолжает выговаривать свои претензии в серую морду. Наконец, оборачивается ко мне:

— Положь ей этих штук побольше. Спрятавши была где-то, теперь лежит похудавши вся, лапы ест, голодует. Иди, Шери, кушай, иди.

У Шери полно корму и она точно не похудала за это утро, бока растекаются по полочке, словно тесто дрожжевое. Но кладу в миску пару лишних шариков, чтоб у бабушки сердце не спрыгнуло из-за этой шерстяной жопы.

— Буде жара на улице, ни ветринки нит!

Бабушка прогноз погоды по своим приметам определяет по сей день, не по термометру. Геометрия у ней тоже своя какая-то, не общественная. Я укладываю взбитые подушки в пирамидку, покрываю кружевной накидкой. Бабушка пристально вглядывается в процесс и сурово объявляет:

— Ни тим углом покрываш-то, ну!

Я озадаченно пытаюсь выискать хоть один угол на круглой накидке. Поворачиваю чуть другой стороной, вопросительно гляжу на бабушку. Она поджимает губы, подходит, сдвигает накидку на пару сантиметров.

— Вот, теперича тим углом, так-то!

Завтра предпасхальная суббота. Завтра приедут мама и муж. Так что нонче нам с бабушкой надо спечь куличи, покрасить яйца и не рассориться. Несу из своей комнаты листочек, на котором крупно выписываю заветное: «у нас с тобой дружба».

Прочитывает, улыбается, кивает. Помогло.

Иду ставить тесто на куличи. Бабушка врывается в кухню каждые пятнадцать минут, блюдет – верно ли всё делаю. Отвлекаю её вручением конверта, на котором крупными красными буквами отпечатано «КРЕМЛЬ». В Кремле конверт, уж конечно, не бывал, но об этом бабушке знать не обязательно. На каждые майские праздники такой бабушке приходит и она всякий раз над ним долго сидит, изучает каждую строчку через лупу. Так и сейчас вышло, бабушку удалось нейтрализовать часа на полтора. Поставив тесто, заглядываю – сидит в комнате, читает письмо кошке вслух. Столковались они с ней хорошо за эти дни.

Куличи спеклись. Вынимаю из форм, простыть. Замешиваю глазурь. Бабушка уже снова добирается до кухни, пробует всё: и остатки теста, и глазурь, и лимонную стружку. Кривится от кислоты – она кислое не уважает особо. Бормочет, качая головой:

— Чего напридумывала-то, девка...

Обмазываем куличные шапочки белой глазурью, посыпаем жёлтенькой стружкой, подсушиваем в тёплой духовке. Выкладываю на столе, рядом с вербами и керамической курочкой, наполненной бурыми яйцами.

Садимся с бабушкой на диван, выдыхаем. Бабушка трогает меня за плечо:

— Девять дён мы с тобою тут в одиночку прожили, доченька... Всё к празднику справили, успели как-то.

Киваю. А она, помолчав, прибавляет:

— Счастливая ты! Всё удилала, завтра муж приедет, всё разыст. И будет у вас дружба. Хорошо тебе, счастье досталось!

Пожалуй, отчасти права бабушка. Счастливая я. И у нас дружба.